

Разные люди отвечали одинаково.

Василий Шукшин

Забвенье неподкупно.

Томас Браун.

Погребение в урнах, или Рассуждение о погребальных
урнах, недавно найденных в Норфолке

Глава первая

Раскопать могилу оказалось проще, чем я думал. Минут двадцать на все — большую часть из которых заняли отвлекающие маневры, рассчитанные на не поймикого. Прежде чем приступить к делу, я устроил повахтанговски щедрое представление: орошал дешевое надгробие водой, с корнем рвал отсутствующую траву, точечно разбрасывал бархатные цветы и озирался с видом маломощного и слегка ослабевшего умом родственника из тех, что и сами уже одной ногой стоят во взрыхленной почве.

У нас в роду такие тоже были.

Ограду с могилы, как и было объявлено, сняли, что делало меня несколько более уязвимым для посторонних глаз, хотя по здравом размышлении мне следовало избегать не людей, а видеокамер. Но на своем участке я не обнаружил ни одной, впрочем, я имел довольно шаткое представление о том, где они вообще могли располагаться. По крайней мере на деревьях они не висели.

Со стороны моя активность, очевидно, показалась бы несколько нетипичной, однако же такой стороне совершенно неоткуда было взяться — тем гаснувшим майским днем некрофланеры мало интересовались этой частью Ваганьковского кладбища. Здесь мало кого зарывали из титанов сцены или пера, все мало-мальски информативные мертвцы покоились на других земных пядях. Так что я, повернувшись немножко, взялся за работу.

Земля подавалась неохотно, но как-то выпукло и сладко — так в детстве, рискуя погнуть, вспахивали столовой ложкой мерзлоту вчерашнего пломбира. Лопатка моя, как я только что заметил, носила имя «Туристической». Я успел зачерпнуть с дюжину таких пломбирных пластов и даже вошел во вкус, как на соседнее захоронение пришла посетительница — нестарая еще печальная женщина, раньше таких называли интеллигентными, что служило подковерным синонимом не вполне счастливых; сегодня я бы назвал ее согласившейся. Она достала бутыль какого-то раствора и стала бережно, как младенца, протирать надгробный камень. Под ним лежал, видимо, муж, сам камень был сравнительно свеж, не в пример моему, и ей было больнее, чем мне, — мое сердце-дембель стучало в этом отношении куда ровнее.

Скорбящая производила свои очистительные ритуалы слишком близко, так что мне пришлось временно свернуть раскопки и отправиться нарезать круги по соседним участкам.

Траурные грядки так густо избороздили почву, что на ней в буквальном смысле не осталось живого места. Смерть жила и множилась, лезла из земли бесчисленными плодами и побегами, не зря в той сказке кочаны капусты превращались в отрубленные головы — такова, стало быть, агикультура гибельного.

Я вглядывался в дешевые (это был, в общем-то, спальный район кладбища, никак не Золотая миля) памятники с тем же чувством статистического любопытства, с каким разглядываешь, в сущности, точно таких же, только живых людей в общественном транспорте, особенно когда те поутру мучительно прикрывают глаза, погружаясь в короткие грохочущие грэзы. Мертвцы умели порадовать своей состоятельностью, живые в сравнении казались теми, с кем еще не произошло ничего по-настоящему знаменательного. Они нам интересны, мы им нет.

Опустевшие имена и просроченные даты шли безответным рыбьим косяком, лишь изредка поражая воображение блеском чешуи или причудливой формой плавника. Мелькнула полусмешная фамилия Спиженковы — так бросается в глаза криптматерный номер на автомобиле.

Эти Спиженковы умерли почти одновременно, с разницей в пару месяцев, нестарыми, почему, интересно, так вышло?

Некоторые могилы украшались, для леденящей достоверности, фотографиями. На них мертвцы были запечатлены со всеми своими привычками, как

фараоны, в частности, некто Кирилл Филимонович 1880 года рождения снялся с трубкой в зубах.

Богатые надгробия-импланты выглядели, напротив, забавно — будто некий небесный эколог учредил раздельный сбор человеческого мусора, но с некоторыми послаблениями. Этот погребальный силикон в любом случае ничего не решал — решали даты, маленькие, почти одинаковые и с претензией на уникальность, как пин-код выпотрошенной карточки: кто на что учился, каждому свое; и какая философия общего дела может быть в этой плоской мозаике?

Только бессвязность и отдельность, где множество случайных соответствий никак не отменяет полного отсутствия солидарности: глядя сверху, можно быть только родственником или в крайнем случае однофамильцем. Иной и редкий вариант предлагали покоившиеся неподалеку сиамские сестры Крипошляповы — одна пила, а другая страдала, но умерли в итоге вместе.

В этой части кладбища почему-то было особенно много детей — и чем быстрее они умирали, тем более глубокой древности, казалось, принадлежали их антитела. Как будто выставлялись хроники чумы, когда детей никто не считал, и от уменьшительных-ласкательных имен на могилах веяло вековым мороком. Их положение во времени казалось особенно пронзительным — дети не успели толком ничего сообразить, однако же все застали всё — и тогда присутствовали бесправными очевидцами, а теперь простирались немыми, слепыми укорами, востроносики в гробах. Мне

рисовались их бестелесные детские головы с крыльями вместо ушей, словно у ангелов на иных флорентийских фресках, но снабженные примирительными русскими стансами — моя завидна скоротечность, не знала жизни я и знаю вечность. Что случилось в 77 году с малолетним Сашенькой Сорокиным? Леночка Дунайкина прожила ровно два года — с 1932-го по 1934-й, по чьей милости? Какая муха укусила в 38 году Колю Куприянова? Давно не существующий Женичка Стефанович (1950–1957) тоже был обеспечен фотографией — обиженное лицо в шапке, уголки рта сползли глубоко вниз, он вот-вот расплачется — за что вы так со мной, в том оттепельном пятьдесят седьмом? Всем оттепель, а мне на Богояву делянку. Все же даты и дети — две вещи несовместные. Второй вопрос — куда деваются прозвища людей?

Когда я вернулся на позицию, интеллигентная женщина скрылась, а небо над головой начинало картиинно темнеть и пучиться. Дождь в планы не входил, я кинулся рыть зло и уже без оглядки, будто вскалывал ненавистный барский огород. Могила, в сущности, была братской, точнее сестринской. По моим расчетам, в ней лежали по меньшей мере три урны — все женщины, и все поверх основного гроба. Того же, кто обосновался в самом гробу, я не помнил и не знал — некто Иванов, и даты прибытия-отбытия у него были крепкие, прошловековые. Не имел я понятия также и о том, в какой именно части могилы были прикопаны нужные мне прахи. У предположительного изголовья были воткнуты поясняющие мраморные таблички, и я вновь

обнаружил, что на одной из них, необходимой именно мне, и немедленно, стояла неправильная дата смерти — выгравирован был 93 год, хотя на самом деле все случилось двумя годами позже, не знаю, кто и зачем потопропил события.

Я стал ворочать лопаткой прямо под ложным указателем, и мгновенная находка компенсировала ошибку — стук, упор, клад. Первая урна неожиданно оказалась в пакете. Это была прямоугольная подарочного толка коробка вроде как из-под «Бушмилс». По счастью, мне не пришлось вытаскивать ее из промозглого полиэтилена — анкетные данные праха пропечатались сверху на крышке, дорогое имя, но сегодня мне нужно было не оно. Я уложил коробку обратно в яму и начал рыть чуть правее, уже руками. В кладбищенской земле, как оказалось, обретается неизмеримое количество мелких камней и каких-то странных обломков, в природу и происхождение которых я предпочел не углубляться — мне и так казалось, что я перебираю чужие внутренности, по локоть увязнув в ископаемом организме.

Наконец я нашупал и выкорчевал вторую урну. Фамилия оказалась слегка объедена почвенной эрозией, но тут уж ошибки быть не может. Вот ты где. Я столько раз прокручивал в голове эту встречу, но все, как обычно, состоялось иначе, в других цветах и прикосновениях. Во-первых, урна была не урна, а почти что амфора — черная фигуристая керамическая посудина с вязкими росписями, как на древнегреческих вазах. Во-вторых — она была не запечатана. В краткий миг

неразумия я сдвинул круглую крышку и заглянул внутрь. Наш зрительный контакт длился ничтожные доли секунды, но пожалел я о нем еще быстрее. Когда самолет заходит на посадку, его иногда заносит в зону беспросветной напряженной серости, в кисельный тупик каленой пустоты, которая, кажется, не кончится никогда. Очень похожая тугоплавкая мгла промелькнула передо мной — каким-то свежепойманным сероводородом по глазам. Я никогда раньше не видел, что остается от человека, когда он сгорел. А конкретно этих останков не видел никто — вот уже тринацать лет и еще не увидел бы три тысячи, если б я не встрял, не распахал этот подзол. В моей руке очутился факел обратимости, и я зажег его, открыв свою личную олимпиаду — для тех, кто смертельно соскучился по вниманию, которое поважнее любви. Любые сколь угодно напряженные воспоминания нужны только тебе, а тем, кто по ту сторону тела и души, — им, скорее всего, важен взгляд.

Я поскорее закидал яму землей, кое-как разровнял и забросал гвоздиками, предварительно разорвав их пополам для профилактики кладбищенского воровства. Цветов я купил через край — все, что было у торговки в ведре, пришлось делить их на несколько пучков, иначе не поддавались, и всякий раз, когда я уже почти переломил всю фасцию, ветка-одиночка вдруг становилась упрямой, как провод, отслаивала упругую стружку-застежку, которая доезжала почти до самого цветоложа, и только там, в преддверии мертвенно-красной бархатки, наконец болезненно надрывалась,

так что к моменту, когда я укоротил их все, я почти кожей чувствовал острую боль растения. Я завернул урну в припасенный зеленоватый пакет из «Азбуки вкуса» и аккуратно поставил в сумку, словно утешительный кубок, доставшийся без оваций и промедлений. Моя древняя черная торба Ann Demeulemeester по дизайнерской прихоти была в принципе лишена каких-либо молний и застежек, вероятно, сказывались кальвилистские корни изобретательницы. В обычное время меня это раздражало, но сегодня сумка-распашонка пришла кстати — я шел, запустив руку внутрь и придерживая крышку амфоры. Скорость росла с каждым шагом-прыжком — мимо колумбария, напоминающего при-чудливую барную стойку, мимо вчерашних захоронений, отдающих паркетной свежестью, мимо недорогих надгробий, похожих на обложки итальянских прог-роковых групп (одно мелькнуло даже с тюленем, как теперь забыть), мимо паперти, мимо спеленутого Высоцкого, который пламенно каменел на входе как главный местный святой и страж своей веселой покойницкой. Народ повалил навстречу с невозмутимой приподнятостью, а я будто выкарабкивался из лежачей гимнографии паспортных данных в иную оперативную грамматику, где бывают и будут еще сказуемые и запятые, много запятых, и союзы, хоть соединительные, хоть противительные, хоть разделительные, все эти ничтожные распорки и мостки дышали грядущей жизнью.

Мне захотелось поднять загробный кубок над головой, как новорожденного, невозбранно показать праху

все формы жизни, которых он был лишен за годы кромешного отсутствия. Выходя из восковых ворот кладбища, я испытал последнюю короткую тревогу — должна же быть граница между миром мертвых и живых, и, может быть, в урну вживлен, точнее вмертвлен, особый чип, который завершит на выходе.

Не всем городам к лицу гроза, но Москве она всегда в масть, особенно на ранних подступах. В предненастном мареве у города сделался шальной помутившийся вид, за который легко было полюбить и его, а заодно себя в нем. Тяжелые подвижные тучи приобрели стать и форму слонов, нацелившихся затоптать собственных погонщиков.

Перед началом стихии весь день распался на те самые обстоятельства места и времени, которым учили, да не выучили, выставив, как на ленте кассира, многообразие жизни во всей поштучности и несопоставимости: лица, тротуары, сумки, столбы, солнце, май, Арбат, любовь, и все нажитое и прожитое ехало к точке расплаты. На мгновение детали гигантского пазла разошлись, обнажив столь же проверенные, сколь и надуманные механизмы слаженности: вот шина рассекла лужу на две грязные волны, там вдали льнули друг к другу стебли еще не надорванных гвоздик у похоронных торговок, капля рас прощалась с облаком, а я в это мгновение перебегал улицу по лимонно-белой зебре — она была какой-то чрезмерно яркой, словно предполагалось, что люди, шатающиеся вокруг кладбища, отличаются повышенной рассеянностью. Я встал у сувенирной

лавки, поближе к сувенирам от Высоцкого, и вскинул руку. Приятный, уверенный, осмысленный, как пощечина в атмосферу, жест — ловить машину определенно удобнее, чем, к примеру, подзывать официанта: рука работает и живет полной жизнью, в то время как в ресторане она напоминает о капитуляции на таможенном рентгене.

Мы сразу же рванули с места, не сговорившись о цене, в ржавых жигулях с окнами нараспашку. Маленький южный рулевой все молчал, все понимал и всему кивал, и вдруг, словно извиняясь за собственное неучастие, ткнул пальцем в еле живой кассетник, как будто больно подстегнул умирающую лошадь.

Оттуда раздался дикий крик, действительно как от боли, — с середины грязнула осинская «Плачет девушка в автомате». Никогда в жизни, ни до ни после, мне не приходилось слушать музыку на такой громкости.

Казалось, наш кляча-катафалк понесся вперед исключительно на звуковой волне — на пути не оказалось ни одной иномарки, которую бы мы с какой-то выюрковой грацией не обогнали, и оставшиеся позади оборачивались не на нас, они пялились на песню, как будто громкость перешла в видимость, чему порукой были наши распахнутые окна, роднившие нас с сорвавшимся с цепи кабриолетом. Ничего, кроме громкости, не осталось. Я вдруг вспомнил своего мертвого приятеля, который играл с Осипом еще в восьмидесятые годы в глупой группе «Дед Мороз», а вслед за ним вспомнился раскорячившийся в твисте Ельцин, тоже уже отчаливший,

да и самому Осину, судя по тогдашним сплетням о нем, оставалось недолго. Он сменил девочку из оригинального текста на девушку, как будто понимал, что дети не для могил и не для подобных песен, и голосил теперь с каким-то остекленевшим надрывом. В окно полетели тяжелые и надменные, как ягодные плевки, капли дождя, из сумки шел слабый запах земли, мы будто катились по черной трассе прямиком в ад. Так в итоге, с некоторыми оговорками, и оказалось.

Обычно я выходил на углу Часовой и Черняховского и шел наискосок через дворы и детскую площадку, но теперь то ли из-за дождя, то ли из-за песни мы поехали до самого дома, по Большому Коптевскому, пока не уткнулись в заграждение. «Ага, и вот здесь я выскочу» — этим традиционным оборотом я обозначил завершение поездки. Всегда по приезде говорю таксистам одно и то же. Я ненавидел этот лебезящий отклик, но избавиться от него не получалось.

Рядом с моей девятиэтажкой располагались сразу три местных достопримечательности: заброшенная голубятня (кстати, именно с такого рода постройки начинался тот злосчастный клип Осина) с давно улетувшими птицами, неопознанный индустриальный цех, порой оживающий по ночам с неясными производительными целями, и полуиспарившийся, но пригодный для рассветных распитий пруд. Пейзажу недоставало еще только мельницы (а заодно уж и мельничихи).

Формально это был вполне положительный район, Аэропорт как-никак. Но сам я жил на отшибе, как

деревенский колдун. Через дорогу начиналась собственно жизнь: дорогие писательские дома с мемориальными табличками (живое кладбище), торговые центры, редакция «Искусство кино», рынок, площадь для незаконных сделок и стрелок, шоссе прямиком в Шереметьево, памятники, паб «Черчилль» и этнографическое заведение «Тарас Бульба», где обносили рюмкой прямо на входе со звенящим колокольчиком.

На моей стороне раскинулся рай для уездных социопатов с его соцветием чахлых пятиэтажек и оседлой железной дорогой.

Во всем чувствовался негласный запрет на скоропостижность — может быть чуть лучше, может стать сильно хуже, но просто так это все не закончится. Поэтому здесь даже безделье принимало совершенно иную, почти нравственную природу. Мир как будто заезжался, и любая мелодия сразу перетекала в ямайский ревербериорованный микс, ты слишком долго слышал длинное эхо собственных поступков и ощущений — вот и теперь, стоит прижать треугольную печатку-проходку к кодовому замку, дверь, ойкнув, оживает, но очень не сразу. Здоровенная большеголовая консьержка потребовала майской оплаты своих вахтерских услуг. Платить мне приходилось в основном за то, что она периодически вызывала ко мне же ментов, мотивируя это соответствующими жалобами соседей то на музыку, то на сам факт чужой жизни. Много раз я вынашивал план восстания — по типу «и вот здесь я выскочу», — но всякий раз откладывал до следующего раза. Вот и теперь

я выплатил побор и, широко, как подросток, перешагивая через две-три ступени, поднялся к себе на этаж. На лестничной клетке я выкинул лопату в мусоропровод — она тоже летела слишком долго, прежде чем раздался обиженный грохот.

За это время я успел проникнуть в квартиру и заняться косметической реставрацией: обмотал крышку урны в дюжину слоев невесть откуда взявшегося скотча — накручивал клейкий клубок до тех пор, пока наконец не убедился, что без ножа ее ни за что не открыть. Пакет с остатками земли я выкинул на балкон.

Приготовления стали напоминать кино про голову Альфредо Гарсия. Там есть эпизод, когда Уоррен Оутс в адскую жару притаскивает домой эту самую голову в пакете и кладет ее в рукомойник со льдом. Я тоже поставил свой груз в холодильник, но на этом, впрочем, схожесть с Оутсом закончилась — взамен я вытащил две ополовиненные бутылки: «Флагман» и «Бифтер».

Потом я включил тоже сразу две музыки, одну с компакта, на кухне, а вторую — на кассете, в комнате. От этих наложений квартира становилась как будто многоязычнее, кроме того, так быстрее получалось заглушить плачущую в голове девочку из автомата.

Я соорудил еще один микс по самоличному рецепту — полстакана джина на полстакана водки.

Водка была с дозатором и поддавалась неохотно, но я все же прокапал себе сразу два коктейля. Джин полировал сивушные рельефы, а водка гасила духовитую можжевеловую парфюмерию — в результате возникал

вкус чистого отсутствия, сродни удаляющейся подруге с прямой спиной.

Один стакан оставил на кухне, другой взял с собой в комнату. Так и ходил туда-сюда, прихлебывая и прислушиваясь — между шероховатым техно Rhythm & Noise и переливчатой экстравагантой Pop Concerto Orchestra, — пока не врезался в покосившийся кухонный шкаф. Дождь себя исчерпал, через приоткрытую дверь балкона комната жадно и прерывисто поглощала уличную свежесть.

После столкновения со шкафом я перебрался на матрас в углу комнаты и принялся строить письменный план. Поскольку распорядок завтрашнего дня состоял из единственного пункта, а мне хотелось именно прописать его, то я подолгу обводил готовые буквы и цифры, пока те не превратились в бессмысленно-червивые арабески.

Я допил второй стакан и пошел на кухню за третьим, заодно и выключил везде музыку. В голове воцарилась старая добрая дисгармония с ее реактивным девизом «как угодно». С улицы неслышно, как из-под кровати, доносился редеющий гомон соседей. Весь видимый внешний мир по-тихому тух и гас. Я понемногу начинял нравиться себе и не заметил, как уснул.

Глава вторая

Проснулся я от того, что по комнате прохаживалась крупная белая собака. Точнее, меня разбудил звук ее когтей, разъезжавшихся по паркету, как щеточки неактуального джазмена. Собаки у меня вообще-то не было.

Меж тем она медленно, как страус у Бунюэля, подошла к телевизору и уже было принюхалась к видеокассетам, как я тихо закричал из своего угла. Орден мужества нам обоим определенно не грозил — собака в ужасе вылетела в коридор, а я на кухню, благо больше некуда. Дверь оказалась нараспашку, очевидно, вчера я забыл ее закрыть, когда выбрасывал лопатку «Туристическая».

Сквозняк с какой-то стати пропах имбирем и лавром, пришлось пресечь незваную симфонию запахов двумя тугими щелчками замка.

Холодильник раскрылся с куда более звучным, почти гитарным скрипом — в тон упорхнувшему собачьему джазу. В дешевых квартирах всегда много лишних

звуков — не комнаты, а наушники. Амфора в моем миниморге выглядела как последняя матрешка, лишившаяся всех покровов, безжизненная бессмертная кукла. Вместо спасительного пива в отсеке находились горошек, масло и жухлый нектарин.

Я снимал квартиру что-то около семи лет. За это время она успела превратиться в гибрид склепа и сквота — семейная строгость запустения при общей размотанности быта.

Пятна комариной крови на потолке были моими фресками, поскольку и кровь была как-никак моя — они ее пили, а я потом их на этом потолке убивал, кидаясь книгами.

Планки рассохшегося паркета вылетали из-под ног, как домино. Стиральной машины не водилось, как, впрочем, и посудомоечной, как, впрочем, и собственно автомобильной машины, — поэтому я стирал, точнее мыл, одежду в ванне. Окна зимой облепляло такой стужей, что я спал в одежде, а иной раз и в обуви, как на гауптвахте.

Как выражался Оруэлл, жилось не гигиенично, но уютно.

Заводить домработницу представлялось мне занятием унижающим и унизительным одновременно. Возможно, я был стихийным социалистом, точнее малограммовым пионером.

В конце концов, если жизнь не пошла дальше кастинга, то и интерьеры должны оставаться в статусе репвизита.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru